

РУСЯ *)

В одиннадцатом часу вечера скорый поѣзд Москва-Севастополь остановился на маленькой станціи за Подольском, гдѣ ему остановки не полагалось, и чего-то ждал на втором пути. В поѣздѣ к опущенному окну вагона первого класса подошли господин и дама. Через рельсы переходил кондуктор с красным фонарем в висящей рукѣ, и дама спросила:

— Послушайте. Почему мы стоим?

Кондуктор отвѣтил, что опаздывает встрѣчный курьерскій.

На станціи было темно и печально. Давно наступили сумерки, но на западѣ, за станціей, за чернѣющими лѣсистыми полями, все еще мертвенно свѣтила долгая, лѣтняя московская заря. В окно сыро пахло болотом. В тишинѣ слышен был откуда-то равномерный и как-будто тоже сырой скрип дергача.

Он облокотился на окно, она на его плечо.

— Однажды я жил в этой мѣстности на каникулах, — сказал он. — Был репетитором в одной дачной усадьбѣ, верстах в пяти отсюда. Скучная мѣстность. Мелкій лѣс, сороки, комары и стрекозы. Вида нигдѣ никакого. В усадьбѣ любоваться горизонтом можно было только с мезонина. Дом, конечно, в русском дачном стилѣ и очень запущенный, —

*) В Америкѣ оказался рукописный экземпляр новой книги И. А. Бунина «Темная Аллея», еще не появившейся ни на русском, ни на иностранных языках. Не имѣя возможности снестись с знаменитым писателем, находящимся в настоящее время в Европѣ, мы все-же рѣшаемся помѣстить в «Новом Журналѣ» отдѣльные рассказы из этой его книги. Р е д .

хозяева были люди обѣднѣвшіе, — за домом нѣкоторое подобіе сада, за садом не то озеро, не то болото, заросшее кугой и кувшинками, и неизбежная плоскодонка возлѣ топкого берега.

— И, конечно, скучающая дачная дѣвица, которую ты катал по этому болоту.

— Да, все, как полагается. Катал я ее все больше по ночам, и выходило даже довольно поэтично. Небо на западѣ всю ночь зеленоватое, прозрачное, и там на горизонтѣ, вот как сейчас, все что-то тлѣет и тлѣет... Весло нашлось только одно и то вродѣ лопаты, и я греб им, как дикарь, — то направо, то налѣво. На противоположном берегу было темно от мелкаго лѣса, но за ним всю ночь стоял этот странный полусвѣтъ. И вездѣ невообразимая тишина — только комары ноют и стрекозы летают. Никогда не думал, что онѣ летают по ночам, — оказалось, что зачѣм-то летают. Прямо страшно.

Зашумѣл наконец встрѣчный поѣзд, налетѣл с грохотом и вѣтром, слившись в одну золотую полосу освѣщенных окон, и пронесся мимо. Вагон тотчас тронулся. Проводник вошел в купэ, освѣтил его и стал готовить постели.

— Ну и что же у вас с этой дѣвицей было? Настоящій роман? Ты почему-то никогда не рассказывал мнѣ о ней. Какая она была?

— Худая, высокая. Носила желтый, ситцевый сарафан и крестьянскія чуньки на босу ногу, плетенныя из какой-то разноцвѣтной шерсти.

— Тоже значит, в русском стилѣ?

— Думаю, что больше всего в стилѣ бѣдности. Не во что одѣться, ну и сарафан. Кромѣ того она была художница, училась в Строгановском училищѣ, — значит, имѣла склонность к живописному. Да она и сама была живописна, даже иконописна. Длинная, черная коса на спинѣ, смуглое лицо с маленькими темными родинками, узкій правильный нос, черные глаза, черныя брови... Волосы сухіе и жесткіе, слегка курчавятся. Все это, при желтом сарафанѣ и бѣлых кисейных рукавах сорочки, выдѣлялось очень красиво. Лодыжки и

начало ступни в чуныках — все сухое, с выступающими под тонкой смуглой кожей костями.

— Я знаю этот тип. У меня на курсах такая подруга была. Истеричка, должно быть.

— Возможно. Тѣм болѣе, что лицом была похожа на мать, а мать, родом какая-то княжна с восточной кровью, страдала чѣм-то вродѣ черной меланхоли. Выходила только к столу. Выйдет, сядет и молчит, покашливает, не поднимая глаз, и все перекладывает то нож, то вилку. Если же вдруг заговорит, то так неожиданно и громко, что вздрогнешь.

— А отец?

— Тоже молчаливый и сухой, отставной военный. Прост и мил был только их мальчик, котораго я репетировал.

Проводник вышел из купэ, сказал, что постели готовы, и пожелал покойной ночи.

— А как ее звали?

— Руся.

— Это что-же за имя?

— Очень простое — Маруся.

— Ну и что-же, ты был очень влюблен в нее?

— Конечно, казалось, что ужасно.

— А она?

Он помолчал и сухо отвѣтил:

— Вѣроятно, и ей так казалось. Но пойдём-ка спать. Я ужасно устал за день.

— Очень мило! Только даром заинтересовал. Ну, расскажи хоть в двух словах, чѣм и как ваш роман кончился.

— Да ничѣм. Уѣхал и дѣлу конец.

— Почему-ж ты не женился на ней?

— Очевидно, предчувствовал, что встрѣчу тебя.

— Нѣт, серьезно?

— Ну, потому, что я застрѣлился, а она закололась кинжалом...

И, умывшись и почистив зубы, они затворились в образовавшейся тѣсотѣ купэ, раздѣлись и с дорожной отрадой

легли под свѣжее глянцевитое полотно простыни и на такія-же подушки, все скользившія с приподнятаго изголовья.

Синелиловый глазок над дверью тихо глядѣл в темноту. Она скоро заснула, он не спал, лежал, курил и мысленно смотрѣл в то лѣто... На тѣлѣ у нея тоже было много маленьких темных родинок — эта особенность была прелестна. Оттого что она ходила в мягкой обуви без каблуков, все тѣло ея волновалось под желтым сарафаном. Сарафан был широкій, легкій и в нем так свободно было ея долгому дѣвичьему тѣлу... Однажды она промочила в дождь ноги, вбѣжала из сада в гостиную, и он кинулся разувать и цѣловать ея мокрыя узкія ступни — подобнаго счастья не было во всей его жизни. Свѣжій, пахучій дождь шумѣл все быстрѣе и гуще за открытыми на балкон дверями, всѣ спали послѣ обѣда — и как страшно испугал их какой-то черный с металлически-зеленым отливом пѣтух в большой огненной коронѣ, вдруг вскочившій из сада со стуком коготков по полу в ту самую горячую минуту, когда они забыли всякую осторожность. Увидав, как они вскочили, он торопливо и согнувшись, точно из деликатности, бѣжал назад под дождь с опущенным блестящим хвостом...

Первое время она все приглядывалась к нему; когда он заговаривал с ней, темно краснѣла и отвѣчала насмѣшливым бормотаніем; за столом часто задѣвала его, громко обращаясь к отцу:

— Не угощайте его, папа, напрасно. Он вареников не любит. Впрочем, он и окрошки не любит, и лапши не любит, и простоквашу презирает, и творог ненавидит...

По утрам он был занят с мальчиком, она по хозяйству — весь дом был на ней. Обѣдали в час, и послѣ обѣда она уходила к себѣ в мезонин или, если не было дождя, в сад, гдѣ стоял под березой ея мольберт, и, отмахиваясь от комаров, писала с натуры. Потом стала выходить на балкон, гдѣ он послѣ обѣда сидѣл с книгой в косом камышевом креслѣ, стояла, заложив руки за спину, и посматривала на него с неопредѣленной усмѣшкой:

— Можно узнать, какія премудрости вы изволите штудировать?

— Исторію французской революціи.

— Ах, Бог мой! Я и не знала, что у нас дома оказался революціонер!

— А что ж вы свою живопись забросили?

— Вот-вот и совсѣм заброшу. Убѣдилась в своей бездарности.

— А вы покажите мнѣ что-нибудь из ваших писаній.

— А вы думаете, что вы что-нибудь смыслите в живописи?

— Вы страшно самолюбивы.

— Есть тот грѣх...

Наконец предложила ему однажды покататься по озеру, вдруг рѣшительно сказала:

— Кажется, дождливый період наших тропических мѣст кончился. Давайте развлекаться. Душегубка наша, правда, довольно гнилая и с дырявым дном, но мы с Петей всѣ дыры забили кугой...

День был жаркій, парило, прибрежныя травы, испещренные желтыми цвѣточками куриной слѣпоты, были душно нагрѣты влажным теплом, и над ними низко вились несмѣтные блѣдно-голубые мотыльки.

Он усвоил себѣ ея постоянный ироническій тон и, подходя к лодкѣ, насмѣшливо сказал:

— Наконец-то вы снизошли до меня!

— Наконец-то вы собрались с мыслями отвѣтить мнѣ!
— крикнула она и прыгнула на нос лодки, распугав лягушек, со всѣх сторон зашлепавших в воду, но вдруг дико взвизгнула и подхватила сарафан до самых колѣн, топая ногами:

— Уж! Уж!

Он мельком увидал блестящую смуглость ея голых ног, схватил с носа весло, стукнул им извивавшагося по дну лодки ужа и, поддѣв его, далеко отбросил в воду.

Она была блѣдна какой-то индусской блѣдностью, родинки на ея лицѣ стали темнѣе, чернота волос и глаз как будто еще чернѣй. Она облегченно передохнула:

— Ох, какая гадость! Недаром слово ужас происходит от ужа. Они у нас тут повсюду, и в саду, и под домом... И Петя, представьте, берет их в руки!

В первый раз заговорила она с ним просто, и они в первый раз взглянули друг другу в глаза прямо.

— Но какой вы молодец! Как вы его здорово стукнули!

Она совсѣм пришла в себя, улыбнулась и, перебѣжав с носа на корму, весело сѣла. В своем испугѣ она поразила его красотой, сейчас он с нѣжностью подумал: да она совсѣм еще дѣвченка! Но, сдѣлав равнодушный вид, озабоченно перешагнул в лодку, и, упирая веслом в студенистое дно, повернул ее вперед носом и потянул по спутанной гущѣ подводных трав на зеленыя щетки куги и цвѣтущія кувшинки, все спереди покрывавшія сплошным слоем своей толстой, круглой листвы, вывел ее на воду и сѣл на лавочку посрединѣ, гребя направо и налѣво.

— Правда, хорошо? — крикнула она.

— Очень! — отвѣтил он, снимая картуз, и обернулся к ней, стараясь быть сдержанным: — Будьте добры кинуть возлѣ себя, а то я смахну его в это корыто, которое, извините, все таки протекает.

Она положила картуз к себѣ на колѣни.

— Да не беспокойтесь, киньте куда попало.

Она прижала картуз к груди:

— Нѣтъ, я его буду беречь.

У него опять нѣжно дрогнуло сердце, но он опять отвернулся и стал усиленно запускать весло в блестящую среди куги и кувшинок воду.

К лицу и рукам липли комары, кругом все слѣпило теплым серебром: парный воздух, зыбкій солнечный свѣтъ, курчавая бѣлизна облаков, мягко сіявших в небѣ и в прогалинах воды среди островов из куги и кувшинок: вездѣ было так мелко, что видно было дно с подводными травами, но оно как-то не мѣшало той бездонной глубинѣ, в которой отражалось небо. Вдруг она опять взвизгнула и лодка повалилась на бок: она сунула с кормы руку в воду и, поймав

стебель кувшинки, так рванула его к себѣ, что завалилась вмѣстѣ с лодкой — он едва успѣл вскочить и поймать ее под мышки. Она захохотала и, упав на корму спиной, брызнула с мокрой руки прямо ему в глаза. Тогда он опять схватил ее и, не понимая, что дѣлает, поцѣловал в хохочущія губы. Она быстро схватила его за шею и неловко поцѣловала в щеку.

С тѣх пор они стали плавать по ночам. На другой день она вызвала его послѣ обѣда в сад и спросила:

— Ты меня любишь?

Он горячо отвѣтил, помня вчерашніе поцѣлуи в лодкѣ:

— С перваго дня нашей встрѣчи!

— И я, — сказала она. — Нѣтъ, сначала ненавидѣла — мнѣ казалось, что ты совсѣм не замѣчаешь меня. Но, слава Богу, все это уже прошлое. Нынче, как все улягутся, ступай опять туда и жди меня. Только выйди из дому как можно осторожнѣе, мама за каждым шагом моим слѣдит, ревнива до безумія.

Ночью она пришла на берег с пледом на рукѣ. От радости он встрѣтил ее растерянно, только спросил:

— А плед зачѣм?

— Какой глупый. Нам же будет холодно. Ну скорѣй, садись и гребь к тому берегу...

Всю дорогу они молчали. Когда подошли к лѣсу на той сторонѣ, она сказала:

— Ну вот. Теперь иди ко мнѣ. Гдѣ плед? Ах, он подо мной. Прикрой меня, я прозябла, и садись. Вот так... Нѣтъ, погоди, вчера мы цѣловались как-то безтолково, теперь я сперва поцѣлую тебя, только тихо, тихо. А ты обними меня... вездѣ...

Под сарафаном у нея была только сорочка. Она нѣжно, едва касаясь, цѣловала его в края губ, потом отчаянно обняла его...

Полежав в изнеможеніи, она приподнялась и с улыбкой счастливой усталости сказала:

— Теперь мы муж с женой. Мама говорит, что она не

переживет моего замужества, но я сейчас не хочу об этом думать... Знаешь, я хочу искупаться, страшно люблю по ночам...

Через голову она раздѣлась, неясно забѣлѣла всѣм своим долгим тѣлом и стала завязывать голову косой, подняв руки, показывая темныя мышки и поднявшіяся груди. Завязав, она быстро вскочила на ноги, и плашмя упав в воду, закинула голову назад и шумно заколотила ногами.

Потом он, спѣша, помог ей одѣться и закутаться в плед. В сумракѣ сказочно были видны ея черныя глаза и черныя волосы, обвязанные косой. Он больше не смѣл касаться ея, только цѣловал ея руки и молчал от тупого, нестерпимаго счастья. Все казалось, что кто-то есть в темнотѣ прибрежнаго лѣса, молча тлѣющаго кое-гдѣ свѣтляками, — стоит и слушает. Иногда там что-то осторожно шуршало. Она поднимала голову:

— Постой, что это?

— Не бойся, это вѣрно лягушка выползает на берег. Или еж в лѣсу...

— А если козерог?

— Какой козерог?

— Я не знаю. Но ты только подумай: выходит из лѣсу какой-то козерог, стоит и смотрит... Мнѣ так хорошо, мнѣ хочется болтать страшныя глупости!

И он опять прижимал к губам ея руки, иногда, как что-то священное, цѣловал холодную грудь. Каким совсѣм новым существом стала она для него! И стоял и не гас за чернотой низкаго лѣса зеленоватый полусвѣтъ, слабо отражавшійся в плоско бѣлѣющей водѣ вдали, рѣзко, сельдереем, пахли росистыя прибрежныя растенія, таинственно, просительно ныли комары — и летали, летали над лодкой и дальше, над этой по ночному свѣтящейся водой, страшныя, безсонныя стрекозы. И все гдѣ-то что-то шуршало, ползло, пробиралось...

Через недѣлю он был безобразно, с позором, ошеломленный ужасом совершенно внезапной разлуки, выгнан из дому.

Как-то послѣ обѣда они сидѣли в гостиной и, касаясь головами, смотрѣли картинки в старых номерах «Нивы».

— Ты меня еще не разлюбила? — тихо спрашивал он, дѣлая вид, что внимательно смотрит.

— Глупый. Ужасно глупый! — шептала она.

Вдруг в столовой слышались мягко бѣгушіе шаги, — и на порогѣ встала в черном шелковом истрепанном халатѣ и истертых сафьяновых туфлях ея полоумная мать. Черные глаза ея трагически сверкали. Она вбѣжала как на сцену и крикнула:

— Я все поняла! Я чувствовала, я слѣдила! Негодяй, ей не быть твоею!

И, вскинув руку в длинном рукавѣ, оглушительно выстрѣлила из стариннаго пистолета, из котораго Петя пугал воробьев, заряжая его только порохом. Он бросился к ней, схватил ея цѣпкую руку. Она вырвалась, ударила его пистолетом в лоб, в кровь разсѣкла ему бровь, швырнула им в него и, слыша, что по дому бѣгут на крик и выстрѣл, стала кричать, с пѣной на сизых губах, еще театральнѣе:

— Только через мой труп перешагнет она к тебѣ! Если сбѣжит с тобой, я в тот же день повѣшусь, брошусь с крыши! Негодяй, вон из моего дома! Марья Викторовна, выбирайте: мать или он!

Она прошептала:

— Вы, вы, мама...

За Курском, в вагонѣ ресторанѣ, когда послѣ завтрака он пил кофе и коньяк, жена сказала ему:

— Что это ты столько пьешь? Это уже, кажется, пятая рюмка. Все еще грустишь, вспоминаешь свою дачную дѣвицу с костлявыми ступнями?

— Грущу, грущу, — отвѣтил он, неприятно усмѣхаясь. — Дачная дѣвица... *Amata nobis quantum amabitur nulla!*

— Это по латыни? Что это значит?

— Это тебѣ не нужно знать.

— Как ты груб, — сказала она, небрежно вздохнув, и стала смотрѣть в солнечное окно.

В ПАРИЖЪ

Когда он был в шляпѣ, — шел по улицѣ или стоял в вагонѣ метро, — и не видно было, что его коротко стриженные красноватые волосы остро серебрятся сѣдиной, по свѣжести его худого бритаго лица, по прямой выправкѣ худой, высокой фигуры в длинном непромокаемом пальто, в котором он ходил и лѣто и зиму, ему можно было дать не больше сорока лѣт. Только свѣтлые глаза его смотрѣли с сухой грустью и говорил и держался он как человек много испытавший в жизни и привыкшій к одиночеству. Одно время он арендовал ферму в Провансѣ, слышался ѣдких провансальских шуток и в Парижѣ любил иногда вставлять их с усмѣшкой в свою всегда отрывистую рѣчь. Многие знали, что еще в Константинополѣ его бросила жена и что живет он с тѣх пор с постоянной раной в душѣ. Он никогда и никому не открывал тайны этой раны, но иногда невольно намекал на нее, — небрежно шутил, если разговор касался женщин:

— Rien n'est plus difficile que de reconnaître un bon melon et une femme de bien.

Однажды, в сырой парижскій вечер поздней осенью, он зашел пообѣдать в небольшую русскую столовую в одном из темных переулков возлѣ улицы Пасси. При столовой было нѣчто вродѣ гастрономическаго магазина — он безсознательно остановился перед его большим окном, за которым были видны на подоконникѣ розовыя бутылки конусом с рябиновой и желтыя кубастыя с зубровкой, блюдо с засохшими жареными пирожками, блюдо с рублеными котлетами, коробка халвы, коробка шпротов, дальше стойка, тоже уставленная закусками, за стойкой — хозяйка с непріязненным русским

лицом. В магазинъ было свѣтло, и его потянуло на этот свѣтъ из темнаго переулка с холодной и точно сальной мостовой. Он вошел, поклонился хозяйкѣ и по трем ступенькам поднялся в слабо освѣщенную комнату, прилегавшую к магазину, — там бѣлѣли накрытые бумагой к обѣду столики. В комнатѣ было пусто. Он не спѣша повѣсил сѣрую шляпу и свое длинное пальто на рога стоячей вѣшалки у входа, пошел к столику в самом дальнем углу, разсѣянно сѣл и, потирая худыя руки с рыжими волосатыми кистями, стал разсѣянно читать безконечное перечисленіе закусок и кушаній, частью напечатанное, частью написанное расплывшимися лиловыми чернилами на просаленном листѣ. Вдруг его угол освѣтился, и он увидал безучастно-вѣжливо подходящую женщину лѣтъ тридцати, красивую, крупную, с черными волосами на прямой пробор и черными глазами, в бѣлом передникѣ с прошивками и в черном платьѣ.

— *Bon soir, monsieur,* — сказала она пріятным русским голосом.

Она показалась ему так хороша, что он смутился и неловко отвѣтил:

— *Bon soir...* Но вы вѣдь русская?

— Русская. Извините, образовалась привычка говорить с гостями по французски.

— Да развѣ у вас много бывает французов?

— Довольно много и все спрашивают непременно зубровку, блины, даже борщ. Вы что-нибудь уже выбрали?

— Нѣтъ, тут столько всего... Вы уж сами посоветуйте мнѣ что-нибудь.

Она стала перечислять заученным тоном:

— Нынче у нас щи флотскія, битки по казацки... можно имѣть отбивную телячью котлетку или, если желаете, шашлык по-карски...

— Прекрасно. Будьте добры дать щи и битки.

Она подняла висѣвшій у нея на поясѣ блокнот и записала на нем кусочком карандаша. Руки у нея были очень бѣлыя

и благородной формы, платье поношенное, но, видно, из хорошаго дома.

— Водочки желаете?

— Охотно. Сырость на дворъ ужасная.

— Закусить что прикажете? Есть чудная дунайская сельдь, красная икра недавней полочки, каркуновскіе огурчики малосольные...

Он опять взглянул на нее: очень красив бѣлый передник с прошивками на черном платьѣ, красиво выдаются под ним груди сильной и здоровой молодой женщины... полныя губы не крашены, но свѣжи, на головѣ просто свернутая черная коса, но кожа на бѣлой рукѣ холеная, ногти блестящіе и чуть розовые, — виден маникюр...

— Что я прикажу закусить? — сказал он, улыбаясь. — Если позволите, только селедку с горячим картофелем.

— А вино какое прикажете?

— Красное. Обыкновенное, — какое у вас всегда дают к столу.

Она отмѣтила на блокнотѣ и переставила с сосѣдняго стола на его стол графин с водой. Он закачал головой:

— Нѣтъ, мерси, ни воды, ни вина с водой никогда не пью. *L'eau gâte le vin comme la charrette le chemin et la femme — l'âme.*

— Хорошаго же вы мнѣнія о нас! — безразлично отвѣтила она и пошла за водкой и селедкой. Он посмотрѣлъ ей вслѣд — на то, как ровно она держалась, как колебалось на ходу ея черное платье... Да, вѣжливость и безразличіе, всѣ повадки и движенія скромной и достойной служащей. Но дорогія изящныя туфли. Откуда? Есть, вѣроятно, пожилой, состоятельный амі... Он давно не был так оживлен, как в этот вечер, благодаря ей, и послѣдняя мысль возбудила в нем нѣкоторое раздраженіе. Да, из году в год, изо дня в день ждешь только одного — чего никто и не подозревает в нем, — любви, счастливой любовной встрѣчи, живешь в сущности только надеждой на эту встрѣчу — и все напрасно...

На другой день он опять пришел и сѣл за свой столик. Она была сперва занята, принимала заказ двух французов, по виду мелких служащих, и вслух повторяла, отмѣчая на блокнотѣ:

— Caviar rouge, salade russe... Deux chachlyks...

Потом вышла, вернулась и пошла к нему с легкой улыбкой, уже как к знакомому:

— Добрый вечер. Пріятно, что вам у нас понравилось.

Он весело приподнялся:

— Добраго здоровья. Очень понравилось. Как вас величать прикажете?

— Ольга Александровна. А вас, позвольте узнать?

— Николай Платонович.

Они пожали друг другу руки, и она подняла блокнот:

— Нынче у нас чудный рассольник. Повар у нас замѣчательный, на яхтѣ у великаго князя Александра Михайловича служил.

— Прекрасно, рассольник так рассольник... А вы давно тут работаете?

— Третій мѣсяц.

— А раньше гдѣ?

— Раньше была продавщицей в Printemps.

— Вѣрно из-за сокращеній лишились мѣста?

— Да, по доброй волѣ не ушла бы.

Он с удовольствіем подумал: «Значит, дѣло не в амі», и спросил:

— Вы замужняя?

— Да.

— А муж ваш что дѣлает?

— Работает в Югославіи. Бывшій участник бѣлаго движенія. Вы, вѣроятно, тоже?

— И бѣлаго и всякаго.

— Это сразу видно. И, вѣроятно, генерал, — сказала она, улыбаясь.

— Бывшій. Теперь пишу исторіи этих войн по заказам разных иностранных издательств... Как же это вы одна?

— Так вот и одна...

На третій вечер он спросил:

— Вы любите синема?

Она отвѣтила, ставя на стол мисочку с борщом:

— Иногда бывает интересно.

— Вот теперь идет в синема подлѣ Etoile какой-то, говорят, замѣчательный фильм. Хотите пойдѣм посмотрим. У вас есть, конечно, выходные дни?

— Мерси. Я свободна по понедѣльникам.

— Ну вот, и пойдѣм в понедѣльник. Нынче что? Суббота? Значит, послѣзавтра. Идет?

Она сдержанно улыбнулась:

— Идет. Завтра вы, очевидно, не придете?

— Нѣт, ѣду за город, к знакомым. А почему вы спрашиваете?

— Не знаю... Это странно, но я уж как-то привыкла к вам.

Он благодарно взглянул на нее и покраснѣл:

— И я к вам. Знаете, на свѣтѣ так мало счастливых встрѣч...

И поспѣшил переменить разговор:

— Итак, послѣзавтра. Гдѣ же нам встрѣтиться? Вы гдѣ живете?

— Возлѣ метро Motte Picquet.

— Видите, как удобно, — прямой путь до Etoile. Я буду вас ждѣть при выходѣ из метро ровно в восемь с половиной.

— Мерси.

Он шутливо поклонился.

— C'est moi qui vous remercie. Уложите дѣтей, — улыбаясь, сказал он, чтобы узнать, нѣт ли у нея ребенка, — и приѣзжайте.

— Слава Богу, этого добра у меня нѣт, — отвѣтила она и плавно понесла от него тарелки.

Он был и растроган и хмурился, идя домой. «Я уже привыкла к вам...» Да, может быть, это и есть долгожданная счастливая встрѣча. Только поздно, поздно.»

“Le bon Dieu envoie toujours des culottes à ceux qui n'ont pas de derrière”.

Вечером в понедѣльник шел дождь, мглистое небо над Парижем мутно краснѣло. Надѣясь поужинать с ней на Монпарнасѣ, он не обѣдал, зашел в кафэ на Chaussée de la Muette, сѣл сэндвич с ветчиной, выпил кружку пива и, закурив, сѣл в такси. У входа в метро Etoile остановил шоффера и вышел под дождь на тротуар — толстый, с багровыми щеками шоффер довѣрчиво стал ждать его. Из метро несло вѣтром, густо и черно поднимался по лѣстницам народ, раскрывая на ходу зонтики, газетчик рѣзко выкрикивал возлѣ него низким утиным кряканьем названія вечерних выпусков. Внезапно в поднимавшейся толпѣ показалась она. Он радостно двинулся к ней навстрѣчу:

— Ольга Александровна...

Нарядная, модно одѣтая, она свободно, не так, как в столовой, подняла на него черно подведенные глаза, дамским движеніем подала руку, на которой висѣл зонтик, позахватив другой подол длиннаго вечерняго платья, — он обрадовался еще больше: «вечернее платье, значит тоже думала, что послѣ синема поѣдем куда-нибудь», и отвернул край ея перчатки, поцѣловал кисть бѣлой руки.

— Бѣдный, вы долго меня ждали?

— Нѣт, я только что приѣхал. Идем скорѣй в такси...

И с давно неиспытанным волненіем он вошел за ней в полутемную, пахнущую сырым сукном карету. На поворотѣ карету сильно качнуло, внутренность ея на мгновение освѣтил фонарь, — он невольно поддержал ее за талию, почувствовал запах пудры от ея щеки, увидел крупныя колѣни под вечерним черным платьем, блеск чернаго глаза и полныя, в красной помадѣ, губы: совсѣм другая женщина сидѣла теперь возлѣ него.

В темном залѣ, глядя на бѣлизну экрана, по которой косо летали и падали в облаках гулко жужжащіе распластанные аэропланы, они тихо переговаривались:

— Вы одна или с какойнибудь подругой живете?

— Одна. В сущности ужасно. Отельчик чистый, теплый, но, знаете, из тѣх, куда можно зайти на ночь или на часы с дѣвицей... Шестой этаж, лифта, конечно, нѣтъ, на четвертом этажѣ красный коврик на лѣстницѣ кончается... Ночью, в дождь страшная тоска. Раскроешь окно — ни души нигдѣ, совсѣм мертвый город, Бог знает гдѣ-то внизу один фонарь под дождем... А вы, конечно, холостой и тоже в отелѣ живете?

— У меня небольшая квартирка в Пасси. Живу тоже совсѣм один. Давній парижанин. Одно время жил в Провансѣ, снял ферму, хотѣл удалиться от всѣх и ото всего, жить трудами рук своих — и не вынес этих трудов. Взял в помощники одного казачка, — оказался пьяница, мрачный, страшный во хмелю человѣк, завел кур, кроликов — дохнут, мул однажды чуть не загрыз меня, — очень злое и умное животное... И, главное, полное одиночество. Жена меня еще в Константинополѣ бросила.

— Вы шутите?

— Ничуть. Исторія очень обыкновенная. *Qui se marie par amour a bonnes nuits et mauvais jours.* А у меня и того и другого было очень мало. Бросила на второй год замужества.

— Гдѣ же она теперь?

— Не знаю...

Она долго молчала. По экрану дурацки бѣгал на раскинутых ступнях, в нелѣпо огромных, разбитых башмаках и в котелкѣ на бок какой-то подражатель Чаплина.

— Да, вам, вѣрно, очень одиноко, — сказала она.

— Да. Но что ж, надо терпѣть. *Patience — médecine des pauvres.*

— Очень грустная *médecine.*

— Да, невеселая. И уж очень однообразная: вѣчное одиночество.

— Развѣ у вас мало знакомых?

— Не мало, конечно. Но знакомства плохая утѣха.

— Кто же ваше хозяйство ведет?

— Хозяйство у меня скромное. Кофе варю себѣ сам,

завтрак готовлю тоже сам. К вечеру приходит *femme de ménage*.

— Бѣдный! — сказала она, сжав его руку.

И они долго сидѣли так, рука с рукой, соединенные сумраком и близостью мѣст, дѣлая вид, что смотрят на экран, к которому дымной синевато-мѣловой полосой шел над их головами свѣт из кабинки на задней стѣнѣ. Подражатель Чаплина, у котораго от ужаса отдѣлился от головы проломленный котелок, бѣшено летѣл на телеграфный столб в обломках допотопнаго автомобиля с дымящейся самоварной трубой. Громкоговоритель музыкально ревѣл на всѣ голоса, снизу, из провала дымнаго от папирос зала, — они сидѣли на балконѣ, — гремѣл вмѣстѣ с рукоплесканіями отчаянно-радостный хохот. Он наклонился к ней:

— Знаете что? Поѣдемте куда-нибудь, на Монпарнас, напримѣр, тут ужасно скучно и дышать нечѣм...

Она кивнула головой и стала надѣвать перчатки.

Снова сѣв в полутемную карету и глядя на искристыя от дождя стекла, то и дѣло загоравшіяся разноцвѣтными алмазами от фонарных огней и переливающимися в черной вышинѣ то кровью, то ртутью реклам, он опять отвернул край ея перчатки и продолжительно поцѣловал ей руку. Она посмотрѣла на него тоже странно искрящимися глазами с угольно крупными рѣсницами и любовно-грустно потянулась к нему лицом, полными, с сладким помадным вкусом, губами.

В кафэ “*Courole*” они начали с устриц и анжу, потом заказали куропаток и краснаго бордо. За кофе с желтым шартрезом оба слегка охмелѣли. Он среди разговора смотрѣл на ея разгорѣвшееся лицо и думал, что она красавица.

— Но скажите правду, — говорила она, — вѣдь были же у вас встрѣчи за эти годы?

— Были. Но, вы догадываетесь, какого рода. Ночные отели... А у вас?

Она помолчала:

— Была одна долгая и очень тяжелая исторія... Нѣт,

я не хочу говорить об этом. Мальчишка, сутенер, в сущности... Но как вы разошлись с женой?

— Постыдно. Тоже из-за мальчишки. Красавец греченок, чрезвычайно богатый. И в мѣсяц, в два не осталось и слѣда от чистой, трогательной дѣвочки, которая просто молилась на бѣлую армию, на всѣх на нас. Стала ужинать с ним в самом дорогом кабацѣ на Пера, получать от него гигантскія корзины цвѣтов... «Не понимаю, неужели ты можешь ревновать меня к нему? Ты весь день занят, мнѣ с ним весело, он для меня просто милый мальчик и больше ничего...» Милый мальчик! А самой двадцать лѣтъ... Нелегко было забыть ее, — прежнюю, екатеринодарскую!

Когда подали счет, она внимательно просмотрѣла его и не велѣла ему прибавлять больше десяти процентов на прислугу. Послѣ этого им обоим показалось еще страннѣе разстаться через полчаса.

— Поѣдемте ко мнѣ, — сказал он печально. — Посидим, поговорим еще...

— Да, да, — отвѣтила она, вставая, беря его под руку и прижимая ее к себѣ.

Ночной шоффер, русскій, привез их в одинокій переулок, к под'ѣзду высокаго дома, возлѣ котораго, в металлическом свѣтѣ газоваго фонаря, сыпался дождь на жестяной чан с отбросами. Вошли в освѣтившійся вестибюль, потом в тѣсный лифт и медленно потянулись вверх, обнявшись и тихо цѣлуясь. Он успѣл попасть ключем в замок своей двери, пока не погасло электричество, и ввел ее в очень теплый корридор, потом в маленькую столовую, гдѣ в люстрѣ скучно зажглась только одна лампочка. Лица у них были уже усталыя.

— Нѣтъ, дорогой мой, — сказала она, — ни кофе, ни вина я больше пить не могу.

Он стал просить:

— Выпьем только по бокалу бѣлаго вина, у меня стоит за окном отличное пуи. А?

— Пейте, милый, а я пойду раздѣнусь и помоюсь. И спать, спать. Мы не дѣти, вы, я думаю, отлично знали, что

раз я согласилась ѣхать к вам... И, вообще, зачѣм нам разставаться?

Он от волненія не мог отвѣтить, молча провел ее в спальню, освѣтил ее и ванную комнату, дверь в которую была из спальни открыта. Тут лампочки горѣли ярко, всюду шло тепло от топок, меж тѣм как по крышѣ бѣгло и мѣрно стучал дождь. Она тотчас стала снимать через голову длинное платье.

Он вышел, выпил подряд два бокала ледяного горькаго вина и не мог удержать себя, опять пошел в спальню. В большем зеркалѣ на стѣнѣ напротив ярко отражалась освѣщенная ванная комната. Она стояла спиной к нему, вся голая, бѣлая, наклонившись над умывальником, моя шею и груди, — это было тѣло женщины во всем расцвѣтѣ сил и крѣпости, особенно поразившее его именно тѣм, о чем он больше всего мечтал по ночам, — своей семейственностью.

— Нельзя сюда! — сказала она и, накинув купальный халат, вошла в спальню. — Нетерпѣлив как мальчик...

И, показывая полно налитыя груди, бѣлый сильный живот и бѣлыя тугія бедра, подошла и как жена обняла его. И как жену обнял и он ее, цѣлуя ее еще влажную грудь, пахнущую туалетным мылом, глаза и губы, с которых она уже вытерла краску, прижимая к себѣ все ее прохладное, голое тѣло, точно какую-то наяду. Так прижимал и всю ночь во снѣ, упиваясь тѣм, чего так давно был лишен, — близостью женских плечей, женской спины, женских ног.

Через день она переѣхала к нему.

Однажды зимой он уговорил ее взять на свое имя сейф в Лионском Кредитѣ и положить туда все, что им было заработано за послѣдніе годы.

— Предосторожность никогда не мѣшает, — говорил он, смѣясь. — *L'amour fait danser les âmes*, и я чувствую себя так, точно мнѣ двадцать лѣт. Но мало ли что может быть...

В этот день она долго плакала за плитой в кухнѣ.

На третій день Пасхи он умер в вагонѣ метро, — читая

газету, вдруг откинул к спинкѣ сидѣнья голову, завел глаза...

Когда она, в траурѣ, возвращалась с кладбища, был теплый солнечный день, кое-гдѣ плыли в мягком парижском небѣ весеннія облака, и все говорило о жизни юной, вѣчной — и о ея, конченной.

Дома она стала убирать квартиру. В корридорѣ, в плакарѣ, увидала его давнюю, давнюю шинель, легкую, сѣрую, на красной подкладкѣ. Она сняла ее с вѣшалки, прижала к лицу и, прижимая, сѣла на пол, вся дергаясь от рыданій и вскрикивая, моля кого-то о пощадѣ.

Ив. Бунин.

26.X.40.